

В тот поздний дождливый вечер, едва я вышел на улицу, раскрыл зонт и остановился под фонарем прикурить, как услышал знакомый голос. Я обернулся. Это был мой старый знакомый, актер театра Царегородцев, человек высокого роста с породистым бледным лицом и тронутыми седой волосами, которые он неизменно носил в виде конского хвоста, перетягивая на затылке шнурком. На голове его глубоко сидела черная шляпа с широкими полями, а воротник и полы черного пальто тонко искрились бисером водяной пыли. Мы пожали друг другу руки, он наклонился ко мне под зонт и пробормотал с досадой и горечью:

– Черт! Вот черт, когда же он кончится. Ненавижу.

Мы не виделись месяца три, поэтому направились на Монастырскую площадь и спустя полчаса сидели в полумраке пустого частного бара, пили молдавский «Херес» и вели тот пустой разговор, что сопутствует людям, не обремененным отсутствием времени. За узкими окнами, стуча по карнизу, ровно сыпал октябрьский дождь, блестели черным стеклом тротуары, а здесь, в этом маленьком баре, бесшумно гнали тепло калориферы, вращал под потолком блестящие лопасти вентилятор, и беременная хозяйка с размытым желтым лицом, облокотившись на стойку, потягивала из банки безалкогольное пиво. До закрытия оставалось немногим более часа.

– Не взять ли нам чего-нибудь покрепче? – сказал со вздохом Царегородцев. – Грустно что-то. Слышишь, как стучит этот мерзкий дождь? Так и хочется надраться как следует. Да я и надерусь, если ты составишь компанию... Нет, нет, не возражай, – добавил он, поднимая руки. – Выпьем немного и поедем ко мне. Познакомлю с моей юной подружкой, посидим, как положено. Тем более ты мне обязан за тот сюжет с однорукой сутенершей, помнишь?

– Такое не забывается, – ответил я. – Значит, с подружкой. А кто она такая, откуда? Давай-ка выкладывай.

– Кажется из Тулы, точно не помню. Познакомились на концерте «Диксиленда» в антракте примерно месяц назад. Оказалось, учится в театральном. В общем, теперь она у меня, – продолжал он, сдвигая брови. – И все вроде бы чудесно, если не считать, что иногда утомляет своим необузданным темпераментом. И какой-то бесстыжей наивностью, что ли, которую путает с непосредственностью.

– Ну, таких полно в ее возрасте, – возразил я, закуривая, – это нормально. Можно еще добавить, что она противоречива в суждениях и непоследовательна в поступках. А если в компании начинает восхищаться снобами, ты от неловкости не знаешь куда глаза девать.

– Хм, – произнес Царегородцев. – Пожалуй, ты прав. Но это неважно. Главное, что мы встретились и поедем ко мне.

Я улынулся, что оставалось делать? Впрочем, все к тому и шло. В кармане моего плаща лежала приличная сумма, полученная от издателей

столичного журнала, и я решил, что настала пора вкусить московских щедрот в обществе старого друга.

– Итак, пойдю возьму все, что нужно, – сказал Царегородцев, потирая руки. – А ты посиди покури. Поверишь, я два месяца не наливался ничем, кроме пива. Теперь вот печень, что-то не пойму, да и вообще последнее время я не в своей тарелке. Пить с кем попало не могу, а в одиночестве не умею. Ну да, что тут объяснять, ты ведь знаешь мои замашки.

И он поднялся и достал из кармана плотный, коричневой кожи бумажник. Пришлось сообщить ему, что подаренная мне «сутенерша» благополучно поселилась на страницах журнала, и я обязан исполнить свой долг, который, как известно, платежом красен. Тогда он сдался и великодушно позволил мне оплатить заказ.

Мы выпили по две рюмки замороженной водки, закусывая осетриной с зеленью, и наливали по третьей, когда входная дверь отворилась и на порог ступили новые посетители: молодая женщина с непокрытой головой и девочка лет шести, одетая в белые комбинезон, берет и ботиночки. А женщина... Она рассеянно оглядела зал, убрала на затылок влажные волосы и, на секунду закрыв глаза, глубоко вздохнула и решительно направилась к стойке. Ее светлый плащ с поднятым воротником и узким поясом, стянутым в талии, местами потемнел от дождя и при каждом шаге складками собирался на бедрах, низкие светлые боты оставляли на паркете следы.

Они расположились напротив нас у окна под светильником, и я хорошо видел их лица и стол, на котором вскоре появился заказ: плоская бутылка водки, бутерброды с красной икрой, две банки «колы» и плитка шоколада в золотистой обертке. Этот шоколад и банку «колы» женщина подвинула девочке, и та принялась разворачивать и распечатывать, а затем сдержанно пить и есть, глядя в окно и не произнося не единого слова. Молчала и мать. Она свинтила с бутылки пробку, точным движением налила половину бокала, но когда подносила его к губам, я заметил, что рука ее дрожит, а правое веко подергивается. Я оглядел ее внимательней. Это была женщина лет тридцати, русоволосая, с высоким лбом и тонкими чертами бледного лица, холодную красоту которого ничуть не портили усталый взгляд и отсутствие макияжа.

Мы снова выпили, закусили, и тут хозяйка проговорила со странной задумчивостью во взгляде:

– Какой воспитанный и милый ребенок...

Потом достала из холодильника стаканчик мороженого и, протягивая его через стойку, добавила, возвышая голос:

– Иди сюда, милая... возьми-ка вот, скушай.

Девочка обернулась на голос и слезла со стула. Глаза ее, большие синие и серьезные, вопросительно обратились на мать.

– Вернись на место, – сказала спокойно женщина, и дочь послушно повиновалась. – И никогда ничего не смей брать у чужих. Если нужно, скажи – я куплю.

Девочка вздохнула и снова отвернулась к окну, подперла кулачком щеку. Но тут, задетая за живое, не выдержала, вмешалась хозяйка:

– Послушайте, ну зачем вы так... Я ведь от чистого сердца!

– От чистого сердца подайте нищим на паперти, – сказала женщина. – А мы как-нибудь обойдемся, правда, Настенька?

И она опять налила, выпила, а после закурила длинную сигарету и отерла ладонью лоб. Царегородцев налил в рюмки и наклонился ко мне.

– Совсем нехорошо, сейчас она станет пьяненькая, – заметил он тихо. – Я за малышку беспокоюсь. Все-таки ночь – всякое может случиться. Может, вызвать такси, проводить?

– Пожалуй. Только вот не знаю, согласится ли, ты же слышал, как она оттянула барменшу.

И я скосил глаза на хозяйку, с мрачным видом перетирившую на подносе стаканы. Царегородцев поерзал на стуле.

– Ладно, попробую, – сказал он и тяжело поднялся, придерживая полы расстегнутого пальто. Его породистое удлиненное лицо стало по-отечески строгим и озабоченным. Он решительно направился к женщине, выдвинул свободный стул и по-хозяйски уселся.

– Разрешите присесть, я всего на два слова, – сказал он с невозмутимым спокойствием.

Она выдохнула в потолок тонкую струю дыма.

– Вы и так уже сидите. Но Бога ради, что за проблемы?

– У нас все нормально, – сказал мой приятель. – А вот у вас, кажется, проблемы могут возникнуть. Поэтому мы предлагаем пустяковую услугу, если вы, конечно, не против.

– Да? Очень интересно. Продолжайте, я слушаю.

– Видите ли, уже довольно поздно. А путешествовать ночью в дождь с ребенком по пустынному городу было бы крайне опрометчиво. Будет правильней, если мы проводим вас до места, можете на нас положиться. Мой друг, к слову сказать, человек порядочный, насколько это нынче возможно, более того, он писатель.

– Вот оно что. То-то я думаю, лицо знакомое. Должно быть, видела на фотографии... Ну а вы кто, поэт?

– С чего вы взяли?

– Да Бог его знает, говорите слишком складно.

– Польщен, но я не поэт.

– Тогда кто вы, красавец? Может, художник? Или музыкант?

– Нет, я актер, – нахмурился Царегородцев. – Ну так что? Проводить вас домой?

– Ах да, домой. Что ж, большое спасибо, но вы напрасно беспокоились, мы живем в трех шагах. А впрочем, как хотите. Хотите выпить со мной?

– С удовольствием.

– Тогда налейте мне на палец. Благодарю. Закусывайте бутербродом.

Они разговаривали минут десять. А потом мы все вместе покинули бар, вывалились из его жаркого чрева на сквозящую сырость дождя и ветра, на блестящий лужами тротуар, у бетонных бордюров которого плавали мертвые черные листья. Иногда, ослепляя фарами, мимо проносились автомобили, и рев их моторов в дождливом мраке уснувшего города казался особенно злым и надрывным. Я взял Настю за руку, и она покорно засеменила рядом, временами оглядываясь на мать, занятую беседой с Царегородцевым. Один раз мы остановились перед большой лужей, я подхватил девочку на руки и, подняв над головой, стремительно перенес на твердое место. Мне показалось, она перестала дышать, а очутившись на ногах, еще постояла, зажмурил глаза и прижав кулачки к подбородку. Потом протянула мне руку, и мы весело продолжили путь.

– Похоже, ваш друг обожает детей. Он женат? – услышал я за спиной. Я оглянулся, они шли совсем близко.

– Кто, он? – ответил насмешливо Царегородцев. – Нет, не женат, он вообще не создан для брака. Хотя кто его знает, может по-своему он и прав.

– Вот как? Интересно. И что значит «по-своему прав»?

– То и значит... Понимаете, когда он пишет, а пишет он всегда и всюду, даже в постели с женщиной, живые люди интересуют его по большей части в качестве сырья. Его реальный мир – это выдуманные им истории. Хорошо, если в одной из них его гипотетическая жена займет строчку-другую, перед тем как он потеряет к ней интерес.

– С ума сойти. А на вид такой душака.

– Он и есть душака. Просто не хочет унижать женщину столь мрачной перспективой. Такой уж он человек.

– Ну а вы? Вы тоже разделяете взгляды вашего друга?

– Да теперь уж и сам не знаю. Я был женат трижды, но как выяснилось, всякий раз ошибался. Тут поневоле задумаешься.

– И ошибались, конечно, в женщинах?

– Ничего я не знаю. Я ведь актер, полжизни провел на сцене: чужие мысли, чужие чувства, поступки и те не свои. Пойди теперь разберись, какие из них настоящие.

– В таком случае поздравляю – вы настоящий актер.

Тем временем, следуя указаниям Насти, я свернул в тоннель низкой арки между домами, и скоро мы оказались у одного из подъездов восьмиэтажного, величаво-мрачного здания времен сталинской гигантомании, освещенного по фасаду круглыми матовыми фонарями на бурых чугунных стойках.

– Ничего домик! – буркнул Царегородцев, входя последним в освещенный портик подъезда и опуская, встряхивая в сторону зонт.

– Да, квартира удобная, – сказала женщина. – Она мне от отца досталась, он уехал с мачехой в Гамбург, живут там уже три года.

– Я и не предполагал, что вы немка, – заметил Царегородцев, пытливо взглядываясь в ее лицо. Потом, спохватившись, обернулся ко мне: – Да, познакомься – это Мария.

Я представился и, пожимая ее холодную руку, сказал:

– Очень приятно. У вас очаровательная дочь. Только вот зачем так поздно водить ее в подобные заведения? Или не с кем оставить?

Пряча руки в карманы плаща, она посмотрела на девочку.

– Можно сказать и так. Впрочем, она привыкла поздно ложиться.

И добавила, остановив на мне озадаченный взгляд:

– А вам-то, собственно, какое до этого дело?

– Я же говорю, дочь у вас очаровательная. К тому же вы меня заинтересовали. Удивительно, например, почему до сих пор вы не присоединились к родителям?

– Это долгий и скучный разговор, а нам пора, уже поздно.

– И все-таки? В двух словах...

– У дедушки мы были в прошлом году, но маме там не понравилось, – объяснила девочка. – Ведь правда же, мама? Скажи, а то он не верит.

– Забавно, – сказала она, не слушая дочь, – неужели все писатели так бесцеремонны или мне одной повезло?

– Что вы имеете в виду?

– Ну вот то самое. Вашу невозмутимость, самоуверенный тон, невинные вопросы: не с кем оставить, почему не уехали и прочее в том же роде. Но мне, слава Богу, кое-что уже рассказали о ваших профессиональных пристрастиях, поэтому я не в обиде.

Царегородцев закашлялся.

– Позвольте узнать, что именно?

– Что? Ну например, что вы всегда и всюду пишете. Удивительно. Всегда и всюду. Даже в постели с женщиной. Прямо Хемингуэй какой-то...

– Вы мне льстите, Машенька.

– А вы не обольщайтесь. И не стоит интересоваться мной в качестве сырья для ваших произведений.

– Почему?

– Потому что материал неподходящий.

– Да вам-то откуда знать?

Она удивленно взглянула на меня.

– И простите меня за мой тон. У меня и в мыслях не было вас обидеть.

– Правда?

– Именно так. Будь у нас больше времени, вы бы поняли, что я не совсем то, что вы могли обо мне подумать.

Она наклонила голову к плечу и с минуту молчала, с насмешливым любопытством разглядывая меня. Потом пожала плечами и сказала, вынимая из кармана бумажник, доставая из него визитную карточку:

– Бог вас знает, кто вы такой... Но все равно. Вот возьмите, это старая визитка отца. Позвоните как-нибудь, если не пропадет интерес.

И еще сказала, обращаясь к Царегородцеву:

– Ну, нам пора, спасибо, что проводили. Приятно иметь дело с порядочными людьми. Настя, а ты ничего не хочешь сказать?

Настя, смущенно стоявшая в сторонке, тотчас подошла ко мне и, подняв голову, с детской прямоотой заявила:

– Пока. Позвонить не забудешь?

– Постараюсь.

– Не передумаешь?

– Нет.

Она улыбнулась, и они ушли, а мы какое-то время еще стояли под дождем у подъезда и, задрвав голову, смотрели на мрачную громаду безмолвного дома. Но вот наверху одно за другим осветились три высоких окна, и Царегородцев сонно промолвил:

– Пятый этаж. Налево, – и затем ободряюще: – Все. Берем такси и едем ко мне, у меня зуб на зуб не попадает от этих пеших прогулок.

Возле арки я обернулся, еще раз посмотрел на темный силуэт здания, на три освещенных окна, и тут же с фотографической точностью вообразил себе ее мягко освещенную спальню, да и саму ее, уже готовую лечь в постель в одной только черной сорочке, особенно ловкой в перехвате тонкой талии – вставшую одним коленом на край кровати и потянувшуюся вперед, чтобы откинуть с подушек белоснежное одеяло. И как только вообразил себе это – испытал легкий приступ волнения, того смутного волнения, что случается иногда в пору бабьего лета.

Через час мы были на месте, в Северо-Западном округе, в одном из тех относительно новых районов, архитектура которых вызывает у меня раздражение и невеселые мысли о перспективах клонирования. Когда Царегородцев открыл ключом дверь и мы оказались в прихожей, со стороны кухни к нам выбежала темноволосая, до пояса обнаженная девушка в шортах, с узким смуглым лицом, гибким телом и острыми грудями, похоже всегда готовыми к бою.

– О, пардон! – прошептала она с улыбкой смущения, но с места, однако, не тронулась, дав мне возможность по достоинству оценить ее упругий живот и молодое стоячее вымя с наконечниками алых сосков.

– Не нужно, Юля, – снимая пальто, сказал Царегородцев. – Не нужно позировать, он не художник. То есть он, конечно, художник, но только другого плана. Он художник пера.

– О, я догадываюсь, – сказала, кивая, Юля, и прикрыла ладонями груди. – Но ведь это тоже очаровательно. Вы в какой манере работаете?

Пока я искал что ответить и смотрел в ее маслянисто-карие глаза, Царегородцев нетерпеливым движением ослабил галстук и, подмигнув мне, внушительно заявил:

– Он работает в манере Кортасара, но это не может быть тебе интересно. Иди оденься и для начала принеси коньяку, сырость на дворе прямо окаянная.

– Почему он так груб со мной? – обратилась она ко мне, и глаза ее, полуприкрытые смуглыми веками, затуманились. – Он всегда причиняет мне боль, всегда! Правда, я не злопамятна. А этот, как его... он испанец?

– Да, некоторым образом, – ответил я без улыбки и вполне ей сочувствуя при одной только мысли о театральных массовках, где, вероятно, пройдет ее молодость.

Должен признаться, у Царегородцева я задержался, уступил его настойчивой просьбе «надраться» и, к стыду своему, уступал еще пару дней, пока не почувствовал, что тело мое деревенеет, а желудок рискует расплавиться. От этих дней в памяти осталось: широкий низкий диван, желтый сумрак гостиной с открытым окном, куда входит влажный осенний ветер, полированный стол, похожий на витрину винного магазина, а у стола трагически рыдающая Юля с наброшенным на плечи белым платком. И рядом вдребезги пьяный, страшно бледный Царегородцев, тупо требующий от нее «не заламывать в этом акте руки».

Домой я вернулся в такую же сырую полночь, в полуобморочном состоянии забрался в ванну и открыл горячую воду, мечтая умереть или выжить. Через час, закутавшись в халат, выпив чашку бульона и полстакана водки, я сидел в кресле, перелистывал книгу романов Фриша и воскрешал в памяти сонную тишину частного бара, влажные глаза хмелеющей женщины, ее красивый рот и спокойный голос, чем-то меня взволновавший в тот вечер. Мария...

И я вдруг испытал столь острое желание позвонить ей немедленно, что тут же поднялся, вышел в прихожую и достал из кармана визитку, внимательно изучив ее. Вернувшись в кресло, бросил взгляд на часы (без четверти три) и сразу остыл, с тупой покорностью вложил карточку в книгу и закрыл глаза, пытаюсь сосредоточиться.

Как странно, ее отцом был доктор Потоцкий, известный нейрохирург, несколько лет назад уехавший в Германию, чем в свое время не замедлила воспользоваться местная пресса, утверждая, что причиной послужил некий скандал, связанный с его профессиональной деятельностью. Все это я хорошо помнил. Как сообщал один уважаемый еженедельник, волну подняли менее удачливые конкуренты – они с методичностью опытных анонимов докладывали куда нужно вплоть до бульварных газет о том, что за большие деньги хирург делает сложнейшие операции, используя в своих целях препараты и технику государственной клиники, где он и работал. Те больные, по причине безнадежности отправленные домой умирать, а впоследствии воскресшие благодаря Потоцкому, ничего не подтвердили, но прецедент все-таки место имел. После недолгих переговоров с богатыми и деловыми немцами он принял предложение одной из

клиник Гамбурга, где и стал, по словам того же еженедельника, ведущим в своей области специалистом. Да, все так. Но Мария... Что удерживало ее в России?

Задремал я только под утро и дремал бы, вероятно, порядочно, но в девять часов так неожиданно и резко прозвонил телефон, что от ужаса я едва не вывалился из кресла. Звонил Царегородцев, сетовал на мое исчезновение, из-за чего, по его выражению, он чуть голову не сломал, ища объяснение столь необдуманному поступку. Под конец озабоченно поинтересовался:

– А чего это у тебя голос такой убитый? Все грустишь о своей зеленоглазой немке?

– Она не немка. И откуда ты взял, что я грущу о ней?

– Да ладно тебе. Позавчера всю ночь втолковывал мне, какая она необычная да какая несчастная... Ты что, не помнишь? Я уж было совсем собрался съездить за ней – да слава Богу, Юля остановила. А если бы не остановила?

– Хорошо бы ты был.

– Вот-вот. Пора бы уж знать тебя, так нет, опять развесил уши.

– Это точно.

– Послушай, я в творческом запое, ушел на больничный. Ты сейчас давай отсыпайся, а вечером приезжай ко мне, будет уха, ну и по рюмочке «Посольской», если желаешь.

– Хорошо, приеду, – сказал я не очень уверенно. – Но пить не буду, от одной мысли с души воротит. Кстати, как там здоровье у Юли?

– Плохо, брат. Пластом лежит «безгласна и виду неимуща». Я и уборкой один занимаюсь. Зря мы ее напоили, она ведь в крепких напитках мало что понимает.

Попрощавшись с Царегородцевым, я поднялся из кресла, закурил и подошел к окну, раздернул шторы. Дождь давно кончился, тротуары подсохли и на голубом небе, уже по-зимнему блеклом, фосфорически тускло пылало невысокое холодное солнце. А ветер сменился, он дул теперь с севера – то гнул верхушки голых деревьев, обрывая с них последние листья, то кидался вниз и кружил меж домов, растаскивая по асфальту обрывки мокрых газет, обносил порывистой зыбью блестящие оловом лужи. И одиноко, бесприютно на холодном ветру, на самой вершине тополя против окна моталась из стороны в сторону серая ворона, поминутно распуская взъерошенные крылья, и сиротливо и даже как будто растерянно каркала...

Я постоял, покурил. Затем сварил себе кофе, попутно размышляя над словами Царегородцева, и решил, что пил я в тот вечер, смешивая все подряд, потому и отшибло память. После чашки горячего кофе с сигаретой я улегся в постель и долго лежал с открытыми глазами, пристально смотрел в потолок. И наконец уснул и проспал без сновидений до самого вечера. И пока приводил себя в порядок, брился, мылся и одевался, город совсем погрузился в сумерки – только на западе, там, где пропало за крышами солнце, все еще стоял янтарный полусвет, а небо над ним было прозрачного, зеленоватого тона.

Закулив, я прошелся по комнате, пробуя на ощупь выбритый подбородок, подошел к настенному зеркалу, оглядел себя в нем. Все вроде бы скромно, ладно – темная рубашка, темный пиджак, волосы причесаны и влажно блестят. Вот только лицо, несмотря на бритву и контрастный душ, уже не так свежо и молодо, как хотелось бы. Впрочем, это-то вместе

с синими глазами и некоторой сухостью черт смотрелось еще подходяще даже на мой придирчивый взгляд. Удовлетворенный, я одернул пиджак и направился к столу, сняв телефонную трубку, набрал по памяти номер. После пятого гудка ровный женский голос ответил:

– Я слушаю – говорите.

Я бодро отрекомендовался:

– Добрый вечер, это Хемингуэй.

– Что?

– Добрый вечер, Мария.

– О Господи, это вы. Вы откуда звоните?

– Из лачуги своей, разумеется. Имею смелость пригласить вас поужинать.

– Что, прямо сейчас?

– Так точно. Царегородцев обещал уху, быть просил непременно.

Она помолчала.

– Уху. Уху я люблю, но к сожалению... к сожалению, это невозможно.

Вы же знаете, у меня ребенок.

– Мы могли бы взять Настю с собой.

– Нет, дорогой мой, по гостям я ее не вожу. То, что вы видели – ну то, что она была тогда ночью со мной... В общем, на то были свои причины.

– Понятно. Ну что ж, очень жаль. Может, как-нибудь в другой раз.

– Подождите-ка. Послушайте, а ваш Царегородцев сильно расстроится, если вы не придете?

– Да нет, не думаю – он там с дамой. А почему вы спрашиваете?

– Если у вас кроме Царегородцева ничего не предвидится, приезжайте ко мне. Правда, рыбы нет, но закусить я что-нибудь приготовлю.

– Отлично.

– И прихватите, если у вас есть деньги, что-нибудь выпить покрепче.

Девятая квартира – не забудете?

– Не беспокойтесь, выезжаю через пять минут.

А спустя полчаса я выходил из лифта в освещенном холле пятого этажа, где было всего две квартиры, с красной ковровой дорожкой между ними, посередине изрядно вытертой. Она ждала меня, стоя на пороге, левой рукой взявшись за ручку открытой двери, а правую опустив вдоль тела, выставив правое колено вперед. На ней были домашние брюки без стрелок и широкий кремовый свитер с круглым воротом и поднятыми до локтя рукавами. Я остановился, и мы молча уставились друг на друга. Она выжидательно. Я, приятно опешив – так хороша она мне показалась в своем скромном наряде, с гладко причесанными волосами, с той особой женственной стройностью тела, которую не спрячешь ни под какими одеждами.

– Ну что же вы встали, входите, – сказала она, смутившись, и забрала у меня кейс, где находился мой «джентльменский» набор – коньяк, водка и пунцовая роза в фольге, купленная в цветочном ларьке у пожилого восточного человека с чугунным носом и белым каракулем на висках. Я кивнул и послушно вошел вслед за ней в прихожую, где всю правую стену занимали черные раздвижные шкафы, а у входа в зал стояло старинное зеркало в массивной черной раме, крепившейся на черном подзеркальнике в виде низкой тумбы с короткими гнутыми ножками. Поставив кейс на подзеркальник, она ловко помогла мне снять плащ, повесила его в один из шкафов и, поймав меня за руку, увлекла через сумрачный зал в угловую комнату с двустворчатыми



дверями, в прошлом, очевидно, служившую кабинетом: массивный рабочий стол у окна, кожаный черный диван, вдоль стен высокие книжные стеллажи. Еще там была пара глубоких кресел, дорогой, но старый ковер на полу и настольная лампа под зеленым абажуром, стоявшая на журнальном столе.

– Поставьте стол к дивану и располагайтесь, полистайте что-нибудь, пока я хожу на кухню, – сказала она, уходя.

– Не забудьте про кейс, там заказ, – сказал я ей в спину.

Она ушла, но скоро вернулась с тонкой фарфоровой вазой, в которой покачивалась на стебле бархатисто пунцовая роза.

– Спасибо, – сказала она и поставила вазу на столик. – Разве я тоже ее заказывала?

– Нет, но я слышал, что женщины любят цветы.

– Это правда, – сказала она, вздохнув, и коснулась ладонью цветка. Потом сходила на кухню, принесла сервированный поднос, и через пару минут мы, не чокаясь, выпили, налили и выпили снова.

– Хорошая водка, – сказала она удовлетворенно. – Вы молодец, взяли именно то, что нужно.

– Нехитрое дело. Просто видел, какую вы заказали в баре, вот и взял ту же самую. Кстати, а где же ваш милый ребенок?

– Спит, я уложила ее пораньше. Как-то все неожиданно. И вообще неловко – вы понимаете?

Поскольку столик был мал, мы сидели, почти касаясь друг друга, и чтобы лучше видеть меня, она отодвинулась и села боком, положив ногу на ногу, а левую руку на отвал дивана.

– Тут у вас среди книг много медицинской литературы. Почему ваш отец не забрал ее в Гамбург?

Она закурила и тоже посмотрела на книги.

– Здесь есть и мои книги, я ведь тоже по образованию врач. Правда, теперь уже бывший, три года как не работаю.

– Хм. А на что вы живете?

– Что?

– Извините, любопытство меня доконает.

– Извиняю. Деньги не проблема, их посылает отец. Для него это не очень накладно, а для нас даже больше, чем нужно. Хотя больше никогда не бывает... Но давайте выпьем, – ввернула она и решительно взяла со стола наполненную рюмку, легонько стукнув о рюмку мою. Мы выпили, она затыкнулась и замолчала, сосредоточенно рассматривая сигарету. Через минуту подняла на меня глаза и спокойно спросила:

– Я вам нравлюсь?

– Конечно.

– Кажется, вы мне тоже.

Она смотрела мне прямо в глаза. И от этого взгляда в горле у меня пересохло.

– Садитесь ближе.

Я пересел. Она улыбнулась, коснулась прохладными пальцами моих щек и подарила мне тот легкий теплый поцелуй в губы, от которого, как писали когда-то, я тотчас сомлел. Затем отстранилась, взъерошив мне челку.

– Поедем к тебе ненадолго? Хочу посмотреть, как ты живешь.

– Что ж, если ты хочешь... Но может быть позже?

– Я здесь не могу. Потом расскажу почему.

И тут где-то в глубине комнат что-то упало, зазвенело, послышался приглушенный неразборчивый голос. От неожиданности я вздрогнул, а она неспешно поднялась и произнесла ровным голосом:

– А вот и начало моего рассказа...

Она взяла тонкий стакан, наполнила его водкой и ушла, плотно прикрыв за собой двери. Я тоже налил в стакан изрядную дозу и выпил одним глотком.

– Кто это? – спросил я, когда она вернулась.

Она села рядом, сложила на коленях руки, и ответила с мрачным спокойствием:

– Кто? Это мой муж. Инвалид, негодяй и пьяница.

– Ты права – одевайся, едем ко мне.

– Нет, милый, вечер любви отменяется. У меня все желание пропало. Тем более Настя проснулась.

Я погладил ее по голове, вид у нее был неважный.

– Причем тут вечер любви? Давай-ка рассказывай, что происходит. Что у вас с мужем?

Она невесело усмехнулась.

– Как у всех когда-то – любовь. А три года назад он перевернулся на машине с какой-то шлюхой. Вскоре после отъезда отца. Паралич. С тех пор выполняю свои врачебные обязанности – воруваю его с места на место, меняю пеленки и водкой пою.

– И сама за компанию причащаешься.

– Знаю. Но так как-то легче.

– А что, родных у него нет?

– Была мать, да только умерла лет пять назад. Есть еще сестра, но у нее семья, кому он нужен.

– Он ведь тебя благодарить должен за то, что ты для него делаешь.

– Он и благодарит. Б...ю, например, называет. Сейчас у меня много разных имен. Называет и заглядывает в глаза, улыбается, черт бы его побрал! Как будто это я виновата в том, что он перестал быть мужчиной. Впрочем, на него грех обижаться, это типичная реакция калеки.

– В таком случае сдай его в богадельню, – предложил я грубо.

– Что ты, не могу – я же врач. Знаю, что такое эти дома инвалидов.

– И как же ты жила эти годы?

– Так и жила.

– Но ведь не могла ты быть все это время одна?

– Значит могла. То есть, нет, конечно – пыталась несколько раз изменить положение. Не получилось. Я почему-то невольно все время сравнивала этих мужчин с мужем, и что совсем ненормально, стала находить между ними немало общего.

– Тогда зачем ты дала мне визитку?

– Черт, да откуда я знаю. Когда ты сегодня позвонил, я вообще потерялась, как девочка. Давай-ка выпьем еще, налей мне, пожалуйста.

– А с кем он оставался, когда вы уезжали к отцу?

– Господи, ты ходячий вопросник. Наняла сиделку, одну знакомую медсестру. Потом она призналась: если бы не наше знакомство, ушла бы на следующий день, так достал он ее своими мерзкими выходками.

– Какими выходками?

– Нет, ты невыносим. Пойду приготовлю кофе.

Она поднялась, но я остановил ее, силой усадив к себе на колени. Она вздохнула, погладила меня по щеке и сказала:

– Ну и черт с ним – помоги мне раздеться.

Она стала приезжать ко мне. Приезжала обычно по вечерам, часа на три-четыре, и не было никакой возможности оставить ее до утра.

– Что ты, не могу, – сказала она как-то на мою просьбу остаться. – Он хоть и калека, но в пьяном виде может перепугать ее до смерти. – И подумав, спокойно добавила: – Если он что-нибудь сделает с ней, я отравлю его, не задумываясь.

Выпивать она стала реже.

– Ты не беспокойся, – говорила она после двух рюмок коньяку, садясь ко мне на колени. – Я вполне себя контролирую. Просто раньше я выпивала с горя, а теперь... Чувствуешь разницу? – и смеясь, прижималась ко мне и гладила меня по щеке. Иногда, лежа в кровати и глядя в окно, она о чем-то задумывалась, и если я тревожил ее, переводила взгляд на меня и говорила что-нибудь примерно такое:

– А если бы в тот вечер ты не встретил Царегородцева? Неужели мы тоже не встретились бы? Раньше я даже думать об этом боялась. А теперь нет. Я верю, что для нашей встречи было предназначение. А ты?

Я садился рядом, целовал ее глаза, целовал теплые, удивительные своим вкусом губы и отвечал:

– Ты права, мы бы все равно когда-нибудь встретились. На улице, в трамвае, на прогулочном катере – для меня это ясно, как Божий день.

Однажды она неожиданно позвонила мне до обеда, чего обычно не делала. Мы расстались с ней поздно вечером. Я отвез ее домой и, вернувшись, заснул только под утро – просматривал свою переписку с В. Астафьевым и кое-что отобрал для газеты, готовившей материал на смерть этого достойного человека. Сонный, я прижал трубку к уху и услышал в ней характерный шум города: приглушенные звуки автомобильных сигналов, чьи-то отдаленные голоса.

– Если ты спишь, – сказала она вместо приветствия, – а я думаю, что это так, то встань и подойди к окну, посмотри какая чудесная погода. Просто чудо какое-то. Ночью выпал снег, а сейчас мороз и солнышко. Мы с Настей ходили за билетами в цирк, теперь гуляем в Монастырском саду, у самой площади. Не хочешь нас повидать?

Прогоняя сон, я потряс головой.

– Я-то хочу. А вот Настя – она еще не забыла меня?

Она рассмеялась.

– Успокойся, тебя забыть нелегко. Заодно можно перекусить где-нибудь, например, в том баре, помнишь? У меня к нему особое чувство. А у тебя?

– Отлично. Ждите в баре, иду одеваться.

Когда я вошел в зал, они сидели за столиком в самом углу, друг против друга, пили кофе и закусывали бутербродами. Хозяйка тоже была на месте – обслуживала у стойки клиента, с тихой улыбкой поглядывая на них, еще более располневшая и медлительная.

– Привет, – сказала она, едва я уселся. – Ты знаешь, она сразу узнала нас, а ведь прошло столько времени – так что пришлось извиниться за ту мою выходку. Поболтали немного. Скоро родит, это будет третий ребенок. Сильная женщина, просто удивляюсь таким. Я бы, например, ни за что не решилась... – и она задумчиво прищурила на меня глаза. – А ты как думаешь, не поздно мне подарить Насте братика?

Ее серебристая лисья шубка была распахнута, темный шарф лежал на плечах. И у меня сердце сжалось от любви к этой женщине с алыми прозрачными пятнами на щеках, с русыми волосами, упавшими на высокий лоб, и зелеными прищуренными глазами, задумчиво глядевшими на меня и, как мне казалось, совсем не требующими ответа.

– Конечно, не поздно, – неожиданно заявила Настя и в наступившей тишине совсем не по-детски вздохнула. Потом сняла с головы лебяжью шапочку, из-под которой волной скатились золотистые кудри, взрослым движением откинула их на плечо, и добавила, исподлобья оглядев нас обоих: – Раз вы теперь любовники...

– Ну как тебе этот милый ребенок? – сказала она с непонятной усмешкой, и прикурила от зажигалки. – Может, сделаем ей подарок?

Голова у меня пошла кругом – я терялся в догадках.

– Ты... Ты не шутишь?

Она смотрела на меня не мигая.

– А что?

– Нет, ты это серьезно?

– Ладно, я пошутила. Но мне всегда хотелось иметь сына. Представляешь, как это было бы здорово. Иногда я даже воображаю его себе – таким славным, внимательным...

– И с такими же синими глазами, как у него? – безучастно вставила Настя, продолжая исподлобья глядеть на меня.

– Что это с тобой сегодня? – сказала Маша и наклонилась к ней, облокотившись на стол.

– Почему ты не позвонил? – едва слышно спросила Настя, и ее пушистые ресницы затрепетали. – Ты же мне обещал. Я ждала, ждала.

– Господи, девочка! – воскликнула Маша, взяв ее за руки. – Он звонил, это я виновата. Что же ты, милая, ни разу не спросила меня о нем?

Тут Настя отвела от меня глаза и застенчиво прошептала:

– Я подумала, может он сам вспомнит. Правду ты говорила, что все мужчины одинаковы и заняты только собой...

Как-то в конце зимы мы побывали у Царегородцева, закатились к нему уже ночью, осыпанные искрящимся снегом – и он только глаза расширил от радостного изумления, когда она встала на цыпочки и, смеясь, стала целовать его в щеки, а потом ласково прильнула к нему.

– Царегородцев, милый, если бы ты знал, как я люблю тебя за то, что ты шлялся в ту ночь под дождем. Царегородцев, где твоя женщина? Ах, вот вы где. Дайте я поцелую вас, милая.

И Юля, на которой из одежды была только рубашка Царегородцева, с умирающими глазами подставила щеку и, глядя морозный мех ее шубки, восторженно прошептала:

– А вы Маша? Вы и есть та самая Маша? О Боже, как это все романтично...

В ту ночь она впервые осталась у меня до утра.

Сейчас, когда я приблизился к финальной части рассказа и восстанавливаю в памяти события того февральского дня, у меня снова начинают дрожать руки, и чтобы унять эту дрожь, я выпиваю рюмку водки, подхожу к окну и закуриваю сигарету. Сейчас тоже февраль, и тоже падает снег – он падает отвесно и медленно, так медленно, будто собирается совсем остановиться, и постепенно я успокаиваюсь, возвращаюсь к столу...

Почему она осталась в ту ночь у меня? Трудно сказать. Утром я повез ее на такси домой – и попали мы как раз на пепелище. Пожарные орудовали внутри дома, а из трех выбитых окон пятого этажа, что выходили на фасад, все еще валил дым. У подъезда плакала пожилая женщина, рядом стояли двое пожарных и милиционер без шапки, а на углу машина скорой помощи. Мы выскочили из машины одновременно с двух сторон. Сбив с ног одного пожарного, она бросилась в подъезд, но милиционер успел обхватить ее сзади и приподнял, пытаясь прижать к стене. Она закричала, лицо ее стало страшным. Подоспевшие врачи быстро вкололи ей что-то, под руки усадили в машину и увезли. Все это произошло так стремительно, что я даже опомниться не успел.

Позже я узнал: причиной оказался пьяный отец – то ли уронил зажженную спичку, то ли бросил тлеющий окурок на ковер у кровати. Он и погиб первый. А Настя, вероятно, была жива до последних минут, но пожарные не успели – она надышалась угарного газа и умерла, находясь в своей комнате под кроватью. Там и нашли ее вместе с плюшевым медвежонком, которого она обнимала за шею.

Доктор Потоцкий прилетел на следующий день и сразу после похорон увез Машу в Гамбург, мне она даже не позвонила. Да и зачем? Как тут ни суди, а во всем виноват был я. Ведь если бы не тот злополучный вечер, когда мы встретились с Царегородцевым, ничего бы этого не случилось.

– Случайных встреч не бывает, – сказала однажды она. – Для нашей встречи было предначертание. Я верю в это. А ты?

– Чье предначертание, Маша? Чье?

Прошло чуть больше полугода. Я жил как во сне, с тошнотворным чувством вины, медленно спиваясь и падая все ниже и ниже. И напрасно Царегородцев вместе с доброй Юлей всячески пытались образумить меня. Жизнь потеряла смысл и не вызывала во мне ничего, кроме тяжелой усталости.

Однажды осенним вечером раздался телефонный звонок. Пьяный от бессонницы, я снял трубку, спросил «какого черта?» – и мне тихо ответили:

– Добрый вечер, Хемингуэй. Не хочешь взглянуть на сына?